

НИКИТА ОХИН

ПОДУШКА

ИЗ ШКАФА

Попробовав один раз,
ты остаёшься с ней навсегда

РОМАН

Никита Охин

Подушка из шкафа

«Автор»

2026

Охин Н.

Подушка из шкафа / Н. Охин — «Автор», 2026

Максу двенадцать, и он живёт в сибирском городке Северный, где всё вращается вокруг угольного разреза. В четверг, в пустой послеобеденный час, Макс открывает старый шкаф бабушки. Внутри, под старыми пальто, сидит существо с грустными глазами и держит у живота подушку. Прижми к животу, говорит оно. Крепко. И не отпускай. С подушкой можно летать. С подушкой тебя не видят взрослые — совсем, никогда, даже когда очень надо. И расплата не в том, что за тобой придут: попробовав один раз, ты остаёшься с ней навсегда, и она тихо забирает у тебя годы, пока ты не обнаружишь, что не помнишь собственную жизнь. Бабушка Зина знает об этом всё. Она не спит по ночам пятьдесят четыре года — с того лета, когда сама открыла этот шкаф. И наутро после первого полёта Макса она набирает номер, который держала в голове сорок лет. Роман о даре, от которого нельзя отказаться, о цене чужой лёгкости — и о том, что самое страшное в невидимости не монстр в шкафу, а то, что тебя правда никто не увидит.

© Охин Н., 2026

© Автор, 2026

Никита Охин

Подушка из шкафа

Глава 1

ПОДУШКА ИЗ ШКАФА

Глава первая

Мальчик из Северного

Макса в его двенадцать лет никто бы не назвал несчастным ребёнком. Это важно понимать сразу, потому что потом будут говорить разное.

Он живёт в обычном панельном доме на четвёртом этаже, в квартире, где всегда пахло чем-то съедобным, даже когда никто не готовил. Учится без троек, но и без блеска. Играет в футбол на поле за гаражами — плохо, в защите, потому что бегают медленнее всех. Собирает вкладыши, потом бросил. Читает про войну и детективы, а фантастику не любит: она кажется ему нечестной, там всё можно придумать как угодно.

Городок, в котором жил Макс, назывался Северный, и это было единственное, что в нём соответствовало действительности.

Он стоял на краю Сибири, в двухстах километрах от областного центра, вдоль одной длинной улицы и трёх коротких. Пятиэтажки, две девятиэтажки, котельная с полосатой трубой, которую видно отовсюду. За котельной начинался лес — не парк, не посадки, а настоящая тайга, куда с середины сентября уже не ходили без взрослых.

Летом здесь было хорошо. Светло до одиннадцати вечера, тепло, пыльно, тополиный пух в подъездах. Дети выходили на улицу после завтрака и возвращались, когда мать высунется с балкона и крикнет.

Зимой становилось минус сорок, и город переставал существовать. Из окна была видна белая стена, и в этой стене иногда двигались фары.

Макс родился здесь и никуда, кроме областного центра и один раз моря, не ездил. Он не считал, что живёт в плохом месте. Ему просто не с чем было сравнивать — и, как он понял гораздо позже, это его и спасло. Мальчику, которому есть куда лететь, подушку не отдают.

Яма

Отец работал на разрезе.

Не в забое, а механиком, в ремонтном боксе, где чинили карьерные самосвалы размером с двухэтажный дом. Смена двенадцать часов, два через два. Работа была тяжёлая и в общем неплохая: платили вовремя, дважды в год давали премию, к Новому году — билеты на ёлку, которые Макс уже перерос, но брал.

Отец не жаловался никогда. Он приходил, мылся, ел и садился перед телевизором с газетой, и через двадцать минут газета сползала на пол. Мама говорила: не буди, пусть отдохнёт.

Разрез в Северном был всем сразу — работой, зарплатой, будущим. О нём говорили как о погоде: что-то большое, от тебя не зависящее, но определяющее всё. Половина города там работала, вторая половина обслуживала первую.

Мама работала во второй половине. Бухгалтером в конторе, которая поставляла на разрез запчасти.

В апреле контору закрыли.

Не разорилась, не сгорела — просто головной офис в областном центре решил, что филиал не нужен, и всех четырнадцать человек отпустили в один день, с выплатами, вежливо, без скандала. Мама вернулась домой в два часа дня с коробкой своих вещей: кружка, кактус, рамка с фотографией Макса за первый класс.

Первую неделю она отдыхала. Даже радовалась — говорила, что не была в отпуске четыре года и что наконец разберёт балкон.

Балкон она разобрала за три дня.

Дальше начались собеседования. В Северном их было немного: она надевала синий костюм, красила губы, уходила часа на два и возвращалась в куртке поверх костюма, потому что переодеваться обратно было лень. Первое время рассказывала, как прошло. Потом перестала.

К июлю она почти всё время была дома.

Макс не сразу понял, что это плохо, — ему-то было удобно: приходишь из школы, а мама уже здесь. Но потом он стал замечать другое. Что она много убирает, каждый день одно и то же, уже чистое. Что телевизор работает с утра, без звука, просто чтобы был. Что она вздрагивает, когда звонит телефон, и делает такое лицо, будто ей сейчас откажут, — даже когда звонит соседка.

Что вечером на кухне они с отцом разговаривают тише, чем раньше.

Слов он не разбирал. Но интонацию слышал: отец говорил ровно и коротко, мама — быстро, много и с той высокой ноткой, от которой у Макса всякий раз холодело внутри.

Бабушкины вещи

У родителей Макса была хорошая квартира — просторная, светлая, с большими окнами и мебелью, купленной разом, одним комплектом. Пять лет назад пришлось потесниться: переехала бабушка.

Она привезла с собой много вещей из старого дома. Тёмный комод на гнутых ногах. Настенные часы, которые никто не заводил. Ковёр с оленями, свёрнутый в трубу и приставленный к стене — его так и не постелили, но и не выбросили. И шкаф. Огромный, чёрный от старого лака, с зеркалом внутри и запахом, который не выветрился ни за месяц, ни за год.

Всё это не вписывалось никуда. Мать однажды сказала отцу на кухне: как будто в квартиру въехал другой дом. Отец пожал плечами: перетерпим.

Они перетерпели. Вещи остались.

Бабушка не была больной или странной. Просто с того года, как умер дед, она стала отдельная — жила в квартире, как живут в гостинице, ничего не переставляя и не считая своим, кроме тех вещей, которые забрала из прошлой жизни.

И только один раз в месяц-полтора она говорила непонятное.

Спрашивала внезапно — за завтраком, в коридоре, однажды прямо по дороге в магазин, — всегда одними и теми же словами и всегда глядя прямо в глаза:

— Ты сегодня не летал?

Мать в такие минуты делала страшные глаза и уводила Макса: не слушай, бабушка путается.

Макс и не слушал. Ему было двенадцать, и он твёрдо знал, что старики иногда говорят чепуху, и это ничего не значит.

Только вот бабушка не путалась больше ни в чём. Она помнила все дни рождения, курс доллара и в каком году Макс болел ветрянкой. Она ни разу не назвала его чужим именем и ни разу не забыла выключить плиту.

Она спрашивала ровно эту одну вещь. Пять лет подряд.

Четверг, тихий час

Шкаф в бабушкиной комнате всегда был закрыт, и Макс знал почему: там висели пальто, которые никто не носил. Так объясняли взрослые. Пальто и коробки. Ничего интересного.

Он открыл его в четверг, в тот тихий час после обеда, когда дом становится пустым даже если в нём кто-то есть.

Внутри действительно висели пальто. А под ними, на полу шкафа, поджав колени к груди, сидело оно.

Существо было как из плохого сна, но какого-то тихого, из тех, где ничего не происходит. Оно напоминало кучу подушек, сваленных одна на другую и слежавшихся за много лет, — тёмно-фиолетовых, почти чёрных в глубине шкафа.

Носа у него не было вовсе. Голова кверху сужалась и заканчивалась заострённым углом — таким, какой торчит у подушки, если взять её за край и потянуть. Вместо рта шёл шов: грубая машинная строчка, стежок за стежком, стянутая посередине чуть туже, чем по краям, отчего линия слегка изгибалась. Когда существо заговорило, шов не разошёлся. Он только натянулся и снова обмяк.

А глаза были большие и тёмные, и они не пугали. Они вызывали жалость.

Макс уже видел такие глаза — у бабушки, в тот год, когда умер дед. Он тогда не понял, что в них не так: она не плакала, и лицо было обычное, а глаза стали вот такие. Теперь, стоя на коленях перед раскрытым шкафом, он подумал, что так, наверное, смотрят все, кто потерял что-то очень дорогое. Одинаково смотрят, кем бы они ни были.

Он испугался в первую секунду. Потом страх отступил — быстро, сам собой, будто его отодвинули в сторону, — и осталось только любопытство.

К животу существо прижимало подушку. Обычную, в застиранной наволочке с выцветшими васильками, из тех, что лежат в каждом доме на верхней полке.

— Ты пришёл, — сказала оно слегка хриплым голосом. — Значит, уже можно.

Оно протянуло подушку.

— Прижми к животу. Крепко. И не отпускай.

Под потолком

Он не помнил, как согласился.

Помнил только тепло — подушка была тёплой, как живое, — и то, как под ладонями что-то мягко подалось, будто внутри неё был не пух, а дыхание. Он прижал её к животу обеими руками, как велели. Крепко.

И пол ушёл вниз.

Не рывком, не как на качелях, когда живот подкатывает к горлу. Мягко, ровно, будто в комнате вдруг стало меньше веса. Макс поднялся на полметра, качнулся, схватился было за воздух — руки от подушки отрывать было нельзя, он понял это сразу, всем телом, — и его повело боком к окну.

Он вцепился в подушку и завис под потолком.

Люстра оказалась прямо перед лицом. Он никогда не видел её так близко: пыль на верхних гранях плафона, дохлая муха, лежащая там, наверное, с прошлого лета, и тонкая трещина в белом стекле, о которой никто в доме не знал. Макс задел её макушкой. Люстра не качнулась.

Он засмеялся — от неожиданности, беззвучно, одним воздухом.

Потом внизу открылась дверь.

Мама вошла в бабушкину комнату — прямо под ним, в двух метрах, — остановилась, поправила скатерть на комоде. Подняла голову.

Посмотрела точно туда, где он висел.

Сквозь него.

Она смотрела так долго, что Макс успел похолодеть весь, от макушки до пяток. Потом вздохнула, зачем-то сдвинула на комоде фотографию деда и вышла, притворив за собой дверь.

Он спустился на пол — сам не понял как, просто захотел вниз, и получилось, — и стоял, прижимая подушку к животу, и слышал, как в груди колотится.

В шкафу было пусто. Только пальто.

Утка с яблоками

Комната Макса была вторая от входа, маленькая, с окном во двор.

Он вошёл, закрыл за собой дверь и минуту стоял, держа подушку и не зная, что с ней делать.

Положить на кровать? Мать увидит вечером, когда придёт стелить. На стул — увидит тем более. Он опустился на колени и сунул её под кровать, к самой стене, за коробку с зимними ботинками, и задвинул коробку обратно.

Отряхнул руки. Сел на пол.

Из-под кровати шло тепло. Ему казалось, что шло, — он лёг щекой на паркет и заглянул в темноту, но там ничего не было видно, только край наволочки в полоске света.

Он опустил покрывало пониже.

Из кухни уже пахло.

Мама с бабушкой готовили утку — целиком, в духовке, с яблоками, — и запах шёл по всей квартире, тяжёлый, сладковатый, с той горчинкой, которая бывает только у румяной корочки. Любимое блюдо Макса. Он мог по этому запаху сказать, сколько осталось: сейчас была та стадия, когда уже невыносимо, но лезть в духовку рано.

Он вышел на кухню, потоптался.

— Не мешай, — сказала мама, не оборачиваясь. — Полчаса ещё.

Она стояла к нему спиной, у плиты, и Макс вдруг понял, что стоит и ждёт, когда она обернётся.

Просто чтобы посмотрела. Просто чтобы увидела.

Он не мог перестать об этом думать с самого обеда. Она смотрела на него в упор, с двух метров, и не видела — и потом вышла из комнаты, и весь день была обычная, и ни разу ничего не заподозрила. Значит, это правда. Значит, он может исчезнуть посреди собственного дома, и никто даже не догадается, что его нет.

Раньше он думал, что если пропадёт, его будут искать. Теперь выходило, что искать некому: чтобы искать, надо сначала заметить.

Мама обернулась, вытирая руки о фартук, и сказала: иди руки мой. И от этого стало так легко, что Макс чуть не засмеялся вслух.

Бабушка сидела на табурете у окна и чистила яблоки — медленно, одной длинной лентой, как умеют только старые люди. Она посмотрела на Макса.

Секунду или две.

Он вдруг испугался — по-настоящему, до холода под ложечкой, — что она сейчас спросит: ты сегодня не летал?

Бабушка отвернулась к окну и продолжила чистить.

Отец пришёл в семь, как всегда.

Долго возился в прихожей, гремел ключами, снимал куртку — и по квартире пошёл его запах, солярка и курево, и что-то ещё, своё, чего Макс потом не находил больше нигде и ни у кого.

— Ну, — сказал отец, заглядывая в комнату и вытирая руки о полотенце. — Чем занимался?

— Читал, — сказал Макс. — Ну, это, на лето задали.

— Много прочёл?

— Полкниги.

Отец кивнул, вполне довольный, и ушёл переодеваться.

Макс за всё лето не осилил ни одной книги из списка и знал, что не осилит. Врал он спокойно, без всякого чувства вины, — это была привычная, домашняя, ничего не значащая ложь, и они оба это примерно понимали.

А вот про шкаф он не сказал ни слова, и вот это уже было по-другому.

Он даже не решал, говорить или нет. Просто открыл рот, чтобы сказать «пап, а в бабушкиной комнате...» — и не сказал. Как будто фраза дошла до горла и там остановилась, аккуратно, без боли.

Он тогда решил, что это он сам. Что он просто не захотел.

— Мальчики! — крикнула из кухни бабушка. — Идите к столу!

Ужин был обычный.

Утка вышла отличная — отец сказал, что лучше, чем на Новый год, и мама сделала вид, что ей всё равно. Говорили про отпуск, про то, что у Соловьёвых со второго подъезда сын поступил, про грибы, которых в этом году не будет из-за сухого июля. Отец рассказал историю с работы. Бабушка почти не ела и почти всё время молчала, но это было привычно.

Макс съел свою порцию и попросил ещё, и мама сказала: ну ты и здоров.

Он смеялся, где надо. Отвечал, когда спрашивали. Передал соль.

И всё это время думал только об одном.

Что подушка лежит под кроватью, за коробкой с зимними ботинками, в четырёх метрах отсюда, через стену.

Что она, наверное, тёплая.

Что ночью, когда все уснут, можно будет достать её ещё раз — только на пять минут, только посмотреть, — и никто, вообще никто во всём этом доме, за этим столом, с этой уткой и разговорами про грибы, не узнает.

Он посмотрел на своих: на отца, вытирающего хлебом тарелку, на маму, на бабушку с её пустой тарелкой и тихими глазами.

Ему было хорошо и тепло, и он был среди них совсем один.

Подушка зовёт

Дом уснул к половине двенадцатого.

Макс лежал в темноте и слушал, как он засыпает — по частям, по звукам. Сначала кухня: посуда, вода, выключатель. Потом ванная. Потом отец прошёл по коридору, тяжело, и лёг, и через пять минут в родительской комнате начался ровный храп. Мама ещё что-то делала — ходила, шуршала, — потом стихла и она.

За стеной, у бабушки, телевизор работал без звука до часу. Полоска синего света под её дверью погасла последней.

И стало совсем тихо, как бывает только в маленьком городе: ни машин, ни голосов, только гудят где-то трансформаторы да очень далеко, на разрезе, что-то мерно работает, не переставая, круглые сутки, всю его жизнь.

Подушка звала.

Не голосом. Макс лежал на спине, а знал абсолютно точно, где она — как знаешь, где в комнате горит лампа, даже с закрытыми глазами. Тёплое пятно под кроватью, за коробкой с ботинками.

Он продержался, наверное, полчаса.

Потом свесился с кровати, отодвинул коробку и достал её.

Она была тёплая. Теплее, чем днём.

Он сел на полу, прижал её к животу, и сразу стало легко — не в смысле «весело», а буквально: тело потеряло вес, как в воде. Пятки оторвались от паркета.

Он открыл окно, и в комнату вошёл ночной воздух: холодный, чистый, с горьковатым дымком из котельной.

Внизу, в четырёх этажах, лежал двор.

Макс постоял на подоконнике на коленях, глядя вниз, и понял, что боится. Очень сильно, до дрожи в руках.

А потом подумал: подушка же держит.

И вылетел в окно.

Город сверху

Первые секунды он просто падал вбок, зажмурившись.

Потом открыл глаза, и оказалось, что он висит над самой серединой двора, метрах в десяти, и медленно поворачивается вокруг себя, как воздушный шарик на нитке.

Двор снизу выглядел совершенно чужим.

Он знал здесь каждый сантиметр — качели, песочница, вкопанные покрышки, гаражи, — но сверху всё это лежало плоско, как чертёж, и было маленьким. Просто маленьким. Он и не думал, что двор, в котором прошла вся его жизнь, такой крошечный.

Фонарь над подъездом гудел прямо ему в лицо, и в конусе света крутилась мошकारа.

Макс осторожно наклонился вперёд — и полетел.

Он понял, как это делается, за минуту, и потом никогда не мог объяснить: не руками, не ногами. Просто хочешь туда — и туда идёшь, как поворачиваешь в мыслях.

Он поднялся над крышей своего дома.

Северный лежал внизу весь.

Одна длинная улица с цепочкой фонарей, три коротких, котельная с полосатой трубой, из которой в июле шёл не дым, а дрожащий воздух. Две девятиэтажки. Школа с тёмными окнами и белым пятном спортплощадки. Магазин. Автобусная остановка, где он ждал автобус тысячу раз.

Весь его город можно было закрыть двумя ладонями.

А за ним — со всех сторон, до самого края, до горизонта, где небо было ещё светлым, потому что июль и север, — стоял лес. Чёрный, сплошной, без единого огня. Он всегда знал, что тайга большая. Но одно дело знать, а другое — увидеть, что твой город это горстка света посреди чего-то, у чего нет конца.

Макс завис над крышей и долго смотрел.

Ему было не страшно. Ему было так, что он потом тридцать лет не мог подобрать слова, и в конце концов решил, что подходит только одно: тихо. Ему было тихо.

Он полетел к Сане.

Саня его одноклассник и лучший друг. Он жил в соседнем доме, третий подъезд, второй этаж, окно на угол. Макс мог дойти туда за две минуты и ходил примерно каждый день.

Долетел он секунд за десять.

Окно было приоткрыто, за тюлем светился прямоугольник — Саня лежал в кровати на боку, поджав ноги, и смотрел в телефон. Свет от экрана бил ему снизу в лицо, и оно было синее и очень сосредоточенное. Он листал что-то, шевеля большим пальцем. Иногда усмехался.

Макс висел в двух метрах от его окна и смотрел на своего лучшего друга.

Он думал: сейчас постучу.

Он реально почти это сделал — уже потянулся, — и остановился.

Не потому, что испугался, что Саня заорёт. А потому что вдруг очень ясно представил: вот он стучит, Саня подходит, отдёргивает тюль — и смотрит сквозь него. Как мама. Спокойно, чуть щурясь, на пустое окно.

И что тогда?

Тогда лучшего друга у него больше не будет. Никогда. Не потому что поссорятся, а потому что Макс будет знать одну вещь, которую нельзя знать про человека, — и жить с ней.

Он не постучал.

Саня погасил экран, повозился и затих. Комната стала совсем чёрной.

Макс ещё немного повисел напротив тёмного окна и полетел дальше.

Он сделал два круга над районом.

Пролетел над школой — низко, над самой крышей, по которой были разбросаны мячи, штук пятнадцать, все, что улетали туда годами. Над гаражами. Над полем, где они играли в футбол и где он всегда стоял в защите.

Над лавкой у подъезда, куда бабушка выходила каждый день.

Потом он повернул за котельную и полетел к разрезу.

Это было далеко — километра три, — но по воздуху получилось быстро. Он поднялся повыше, потому что снизу шёл ветер и было холодно, и вдруг увидел его весь.

Разрез был как воронка.

Огромная — больше, чем весь Северный, — ступенчатая яма, вырытая в земле, кругами уходящая вниз, и по этим кругам ползли жёлтые огни. Прожекторы стояли на бортах и светили в глубину, и там, на самом дне, работали самосвалы. Отсюда они казались игрушечными. Медленно ехали по спирали вверх, гружёные, потом вниз, пустые. Всё время, без остановки, и ночью тоже.

Гул поднимался снизу, ровный и низкий, — тот самый, который Макс слышал из своей кровати каждую ночь двенадцать лет и никогда не задумывался, что это.

Где-то там был ремонтный бокс, где его отец чинил эти самосвалы. Макс поискал глазами и не нашёл — сверху всё было одинаковое.

Он висел над разрезом, и его сносило ветром, и он думал странную для двенадцати лет мысль. Что вот отец ездит сюда почти каждый день, автобусом, по двенадцать часов, два через два, и так всю жизнь. Что маму уволили из конторы, которая возила сюда запчасти. Что весь Северный стоит вокруг этой ямы и живёт из неё.

И что никто из них — вообще никто в городе — не видел её вот так.

Только он.

Домой он вернулся в третьем часу.

Влез в своё окно, зацепив коленом раму, прыгнул на пол и стал разжимать руки. Пальцы свело, он отгибал их по одному. Подушка упала на паркет — и вес вернулся сразу, весь, как будто на плечи положили рюкзак. Ноги подкосились, он сел.

Ему было холодно, знобило, и щёки горели, и хотелось смеяться, кричать и немедленно рассказать кому-нибудь — прямо сейчас, разбудить отца, дёрнуть за плечо: пап, пап, я летал над разрезом.

Он лежал в кровати с открытыми глазами и понимал, что не расскажет никогда и никому.

Подушка лежала рядом, на подушке, — тёплая, чуть просевшая, с васильками, которых в темноте не было видно.

Макс уснул под утро, счастливый, как не был ещё ни разу в жизни.

Та, что не спит

За стеной, в маленькой комнате с окном во двор, бабушка Зина не спала.

Она сидела на кровати поверх покрывала, не раздеваясь, — так она сидела каждую ночь, и никто в доме об этом не знал, потому что за пять лет никто ни разу не заглянул к ней после отбоя. Телевизор был выключен. Свет не горел. Она смотрела на дверцу шкафа — на ту самую, приоткрытую с обеда на два пальца, — и губы у неё шевелились.

Она считала.

Досчитывала до тысячи, доходила до конца и начинала сначала, и так до рассвета, пятьдесят четыре года подряд. Она делала это в общежитии в университете, в первой своей квартире с дедом, в роддоме, когда рожала мать Макса, и в больнице в тот год, когда деда не стало. Она не пропустила ни одной ночи. Сначала это было страшно, потом трудно, потом просто — как чистить зубы.

В половине второго она услышала, как в соседней комнате открылась рама.

Бабушка Зина закрыла глаза.

Она надеялась — все эти пять лет, каждый раз, когда спрашивала внука про полёты и получала в ответ непонимающее лицо, — что ошиблась. Что притащила в этот светлый дом просто мебель. Что оно уже ушло, или спит, или умерло, если такое вообще умеет умирать. Она даже начала верить в это к третьему году.

А потом ей стало ясно, что оно просто ждало, пока в доме случится плохой год.

Она сидела и слушала, и ждала, когда рама хлопнет обратно. Прошёл час, потом ещё половина. Один раз она встала, дошла до двери, взялась за ручку — и вернулась, потому что знала: если сейчас войти к нему в комнату и увидеть пустую кровать, придётся объяснять. А объяснить она не сможет. Ей не поверят — так же, как не поверили ей самой в двенадцать лет.

Рама стукнула в третьем часу.

Бабушка Зина выдохнула, разжала кулаки и посидела ещё немного, глядя в темноту.

Потом она начала считать снова — с единицы, — и в первый раз за пятьдесят четыре года сбилась на второй сотне.

Потому что подумала: завтра надо будет проверить, тёплая ли у него подушка. Если ещё тёплая — значит, у меня есть день или два. А если уже нет — значит, оно выбрало, и тогда всё равно поздно.

Она посмотрела на шкаф.

Из-под пальто на неё смотрели два тёмных грустных глаза — те самые, которые она в последний раз видела летом шестьдесят девятого года, когда ей было столько же лет, сколько сейчас Макс, и когда она в первый и единственный раз в жизни поднялась в воздух.

— Здравствуй, Зина, — сказала существо.

Она не ответила.

Она дождалась шести утра, когда за окном стало совсем светло, вышла в коридор к телефону и набрала номер, который держала в голове сорок лет и не набирала ни разу.

Трубку сняли после второго гудка. Как будто там тоже не спали.

— Валя, — сказала бабушка Зина. — Оно проснулось.

На том конце долго молчали. Потом женский голос, старый и очень спокойный, ответил:

— Знаю. Я уже собралась. Буду завтра к вечеру.

— Валя. — Бабушка Зина оглянулась на дверь внуковой комнаты и понизила голос почти до шёпота. — Ты приезжай. Только к нему не подходи.

В трубке коротко засмеялись.